

УСКОЛЬЗАЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ¹

А.В. Прокофьев
Институт философии РАН

Аннотация: Обращение к идее поколения является довольно эффективным инструментом интерпретации изменений, происходящих в разных сферах человеческой деятельности, в частности в области философского познания. Оно замыкает историческую картину таких изменений на важную антропологическую константу – человеческий возраст – и позволяет реконструировать как общую закономерную динамику происходящего, так и уникальные черты каждого из этапов динамического процесса. Однако «поколенческое» (дискретное) измерение истории в некоторых конкретных случаях может лишиться своей значимости и уходить в тень, уступая место тем ее измерениям, которые обеспечивают непрерывность и преемственность. Применительно к философскому познанию это факторы универсального единства проблематики и философской школы. Биография автора этого очерка показывает, что для определенной части отечественных философов свойственно именно такое соотношение особенностей и движущих сил их академической карьеры. Философов, принадлежащих к этой группе, характеризуют два общих признака: 1) приход в философию из других гуманитарных дисциплин; 2) приход в философию на фоне более или менее острого «кадрового кризиса» этой дисциплины рубежа 1990–2000-х гг. Их тоже можно назвать своего рода поколением, во всяком случае поколением внутри поколения. Однако их «поколенческое» единство является сугубо структурным, а содержательно их деятельность определяется принадлежностью к тем школам, через которые произошло их приобщение к философии. Так автор очерка, изначально специализировавшийся в области истории общественной мысли, стал аспирантом кафедры философии и культурологии Тульского государственного университета имени Л. Н. Толстого, тесно сотрудничавшим с сектором этики Института философии РАН. Это задало не только его многолетнюю связь с институтом, но и принадлежность к московской этической школе с ее методологическими подходами и теоретическими установками в отношении феномена морали. Такой сценарий биографии исключал приоритетное общение с философскими сверстниками и способствовал восприятию своей дисциплины (этики) не как пространства смены поколений, которые драматически борются друг с другом за то, чтобы задавать «всеми признаваемую реальность» (Х. Ортега-и-Гассет), а как пространство коллективного решения сквозных теоретических проблем.

Ключевые слова: современная российская этика, философские поколения, философские школы, академические биографии.

¹ См.: Философские поколения / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. – С. 936–947.

*Поколенческий подход к социокультурным изменениям:
pro et contra*

Сталкиваясь с изменениями, которые с течением времени происходят в нас самих и в окружающем нас мире с его общественными институтами, образцами межличностной коммуникации, моральными и эстетическими стандартами, мы постоянно пытаемся мысленно упорядочить происходящее, описать его как более или менее прозрачную и понятную смену состояний. Принципы внесения порядка могут быть разными, они пересекаются между собой, создавая сложные и подчас противоречивые интерпретации реальности. Видеть в изменениях смену поколений – значит применять один из таких принципов, который, как и все они, обладает своими плюсами и минусами. Используя его, мы схватываем в потоке изменений что-то важное и существенное и, одновременно, упускаем что-то не менее фундаментальное. В силу этого применение поколенческого принципа интерпретации изменений должно сопровождаться пониманием и даже сознательным, настойчивым поиском его естественных ограничений.

Плюсы обращения к идее поколения очевидны. С одной стороны, она отражает важнейшую константу человеческого существования – смену возрастов. Имеется в виду не только биологическое взросление и старение, но и сопровождающая их неизбежная смена социальных ролей – изменение позиции человека в структуре отношений условных «родителей» и «детей». Константа индивидуальной жизни является одновременно константой жизни социальной. В ее пространстве взаимодействуют и сталкиваются между собой разные «возрастные когорты». Их отношения густо замешаны на прагматических интересах, взаимной эмпатии и взаимном ressentimente. Не важно, говорим ли мы об обществе в целом, демографический анализ которого и дал понятие «возрастная когорта», или об отдельных сообществах – субкультурных, территориальных, профессиональных. Идентификация с возрастным «мы» и противопоставление его возрастному «они» в равной мере свойственны для села, городского двора, спортивного клуба, бюрократического учреждения или академической институции. Постоянная смена этих «мы» является такой социальной закономерностью, в которой, в отличие от других, трудно сомневаться.

С другой стороны, идея поколения позволяет говорить не только о типичном и повторяющемся в истории сообществ и видов деятельности, но и об уникальном, характерном только для каких-то групп. «Возрастные когорты» имеют свою неповторимую биографию и свое неповторимое «лицо». Уникальные черты поколения могут играть существенную роль для самоидентификации его представителей («мы знаем, что мы такие, в отличие от них» (отцов или детей, учителей или учеников и т. д.)). Но специфика поколения и даже границы, внутри которых она существует, могут оставаться неясными для принадлежащих к нему людей. Тогда уникальность поколения фиксирует обобщающий его черты наблюдатель. Он же сортирует индивидов по поколенческим нишам. И это позволяет ему придавать упорядоченный вид присутствующему в изменениях разнообразию.

Ограниченность поколенческого подхода тоже очевидна. Существуют объединяющие людей факторы, а также принципы классификации индивидов, имеющие большую силу и большую значимость, чем принадлежность к «возрастным когортам». Ситуативно, применительно к конкретным случаям они могут превратить элементы поколенческого единства во что-то очень поверхностное и тривиальное и так соединить людей через границы, положенные датами рождения и временем формирования личности, что на фоне единства ценностей, образцов мышления и поведения любая попытка говорить о разных поколениях окажется избыточной. Разница в возрасте оказывается в этих случаях исключительно биологическим фактом и не более того. Кроме того, внешний наблюдатель, использующий понятие «поколение» в качестве ключа к интерпретации социальной реальности, вынужден постоянно решать

вопрос о том, что важнее: дата рождения и время формирования личности человека, формально задающие принадлежность к поколению, или же ценности, образцы мышления и поведения. Устанавливая границы поколений, ему неизбежно приходится приводить в равновесие два этих основания и в этой связи вводить такие же сложные и неопределенные конструкции, как те, которые используют историки, пытающиеся ухватить специфику столетий («долгий XVIII век», «короткий XX век» и т. д.).

История философской мысли знает яркие и интересные попытки сделать поколение работающим инструментом анализа социокультурных процессов. Самая яркая, должно быть, принадлежит Хосе Ортеге-и-Гассету, который увидел «причину и ритм исторических перемен... в том неотрывном от любой человеческой жизни факте, что последняя всегда протекает в известном возрасте», а «драматизм, конфликт и борьбу, характеризующие само содержание истории и любого современного существования» – в том, что «современники» не являются «сверстниками» [Ортега-и-Гассет 2000: 260-261]. Его простейшее определение поколения: «общность сосуществующих в одном кругу сверстников», а базовая метафора – «метафора каравана». В этом караване «человеку отведена роль пленника и вместе с тем тайного добровольца, счастливого собственной участью. Он шествует в... [нем], преданный поэтам-сверстникам, типу женщины, царившему во времена юности, и даже особой походке, принятой тогда среди двадцатипятилетних» [Там же: 262]. Каждое поколение полемизирует с предшественниками и преемниками, причем под полемикой Ортега-и-Гассет понимает своего рода агональный диалог. Динамика смены поколений определяется тем, что каждое поколение создает «свой мир», который, в свою очередь, уступает место «миру», созданному другим поколением. «В один прекрасный день... сверстники вдруг обнаруживают, что обновленный мир – результат их усилий – превратился в мир значимый». Они видят, что «всеми признанная реальность» создана людьми именно их поколения [Там же: 272]. И они стремятся в меру сил защищать эту реальность, хотя понятно, что такая защита оказывается успешной лишь до определенного момента. Пока не придет новое поколение и не займет свое законное место.

Ориентировочные временные рамки основных этапов прохождения этого пути по Ортеге-и-Гассету кратны пятнадцати. С пятнадцати до тридцати лет люди лишь вступают в жизнь, знакомятся с теми или иными жизненными поприщами. С тридцати до сорока пяти лет «обретают новые мысли... закладывают основы собственного оригинального мировоззрения». С сорока пяти до шестидесяти оно получает полное развитие. В этот период люди определенного поколения представляют «общепринятое, устоявшееся знание» и «поддерживают действительный уровень науки» (Ортега-и-Гассет подчеркивает, что сказанное им о науке касается и других областей человеческой деятельности). Те, кто находится в промежутке от тридцати до сорока пяти, и те, кто находится в промежутке от сорока пяти до шестидесяти, обречены бороться друг с другом в силу принципиальной противопоставленности их задач. А за пределами двух основных периодов человеческой жизни находится старость, превращающая людей в «обломки жизни, которая окончилась пятнадцать лет назад» [Там же: 274-275].

Бросается в глаза, что временные рамки возрастных ролей, а значит и временные границы между поколениями, предложенные Ортегой-и-Гассетом, более чем условны. Сложно согласиться с тем, что формирование оригинального мировоззрения начинается лишь после тридцати, а профессиональная и человеческая старость – после шестидесяти. Однако в этом отношении испанский философ всего лишь соблюдает интеллектуальную честность. Приняв идею поколения в качестве основы своей интерпретации социокультурных изменений, теоретик просто обязан определиться с количественной стороной анализа. А это делает его крайне уязвимым для аргументов от фактического состояния дел. Важно иметь в виду и то не учтенное Ортегой-и-Гассетом обстоятельство, что поколения не всегда легко сдаются в борьбе за право определять «всеми признанную реальность», они могут успешно монопо-

лизировать пространство какой-то деятельности или даже публичное пространство в целом. И тогда непосредственно идущие за ними люди не получают возможности выстроить «свой мир», им не удается оформиться как полноценному поколению. В поколенческом отношении они сливаются с предшественниками. В этих случаях полемика между временными хозяевами «реальности» происходит не между отцами и детьми, а между внуками и дедами.

Пытаясь осмыслить собственную жизнь вне профессионального контекста, я довольно легко обнаруживаю границы той группы людей, которая вместе со мной перемещается из возраста в возраст, делает мир своим и обречена затем его потерять, оказаться внутри уже чужой жизни. При всей условности и приблизительности таких обобщений я вижу также характерологическое «лицо» этой группы. Я принадлежу к поколению, которое начало формироваться в советском еще обществе, но период окончательного жизненного становления которого пришелся на первое постсоветское десятилетие с его радикальным изменением социального и культурного контекста. Эта двойственность определяет некоторые базовые установки, которые вне зависимости от преобладания ностальгии по всему советскому или раздражения в его отношении существуют у тех, кому сейчас от сорока пяти до пятидесяти пяти. В целом я считаю свое поколение потерянными и проигравшим, поколением неоправдавшихся надежд на синтез бескорыстных убеждений и благоразумно-прагматического отношения к окружающему миру. Исчезновение «моего мира» не кажется мне столь уж серьезной потерей. Я был бы даже рад этому.

Но когда я параллельно пытаюсь проделать подобное усилие в отношении своей академической биографии, мне не удается получить столь же определенного результата. Вопрос о моем философском поколении вызывает у меня легкое замешательство. Я не чувствую локтя сверстников, не улавливаю из коллективного теоретического и методологического «лица». Не лучше обстоят дела и с выявлением других, старших или младших, поколений. Прозрачная идеальная модель нескольких поколенческих «мы», к одному из которых принадлежал бы «я», не складывается. Причины могут быть разными. В этом может быть виновна принадлежность к межпоколенческому провалу, которая делает невозможным для меня опознание своего поколения и дезориентирует в отношении других. Возможно и то, что специфика индивидуального биографического пути привела меня к постоянному ускользанию от влияния сверстников, к недостатку ситуаций, в которых могло бы переживаться единство с ними, и т. д. И так как у меня нет идеальной модели своего философского поколения, я мог бы просто попробовать выстроить собственный биографический нарратив, для того чтобы разобраться в причинах своего замешательства или уловить на повествовательной основе хоть какие-то черты поколенческого единства.

Академическая биография вне поколений: case study

Преобразование философии в область моей профессиональной деятельности было в значительной мере случайным и довольно поздним, если сравнивать с теми коллегами, кто решил заниматься философией, выбирая специальность при поступлении в университет. Я получил историческое образование в провинциальном вузе, Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого, и видел себя исключительно историком-исследователем (что тоже было не совсем характерно, поскольку значительная часть моих сокурсников была ориентирована на партийно-государственную или педагогическую карьеру). Философская подготовка, полученная мной, была не самой худшей – значительное количество учебных часов, несколько спецкурсов, преподаватели с хорошим образовательным бэкграундом и исследовательским потенциалом (преимущественно выпускники философского факультета московского и ленинградского университетов, некоторые из них позднее работали в Институте социологии РАН и СПбГУ). Хотя я начал получать высшее образование в советский период, я ни разу не посещал философских курсов, в которых основой было бы советское ортодоксальное прочтение марксизма. Преподаватели в возрасте выводили из подполья

свои размышления, ранее очень дозированно звучавшие с кафедры, молодые преподаватели азартно совмещали в своих курсах материал самых разных философских традиций. Внутри философского блока меня интересовали этика, ставшая спустя годы моей специализацией, и философия гуманитарного познания. Однако интерес к этике был заложен скорее не философскими курсами, а изучением древнегреческой философии внутри курсов по истории античной культуры. Этическая проблематика виделась мне как совокупность вопросов, связанных с выбором совершенного образа жизни, освоением техник достижения счастья и т. д. Как ни странно, вся моя дальнейшая биография в этике оказалась так или иначе сопряжена с критикой этого понимания, с критикой «этической жизни» с позиций «морали», если пользоваться тем смыслом, который в эти слова вкладывал Бернард Уильямс [Уильямс 2008: 149–173]. Вузовская философская подготовка существенно расширила мою философскую эрудицию, но не повлияла на решимость профессионально заниматься историческими исследованиями. В своем тогдашнем видении своего будущего я был университетским преподавателем отечественной истории, который в порядке хобби ведет спецкурс по этике.

Во время обучения на старших курсах определились мои приоритеты в качестве историка. Я понял, что меня в первую очередь интересует история общественной мысли, при этом преимущественно идеологизированной и погруженной в политический контекст. Этот интерес коррелировал с тогда не так широко употреблявшимся понятием «история идей». Непосредственным предметом исследований стал западноевропейский и российский традиционализм XIX века. Такое самоопределение было скорее препятствием успешной академической карьере, чем ее залогом. В вузе, где я обучался, хорошие перспективы в плане проведения исследований, публикаций, дальнейшей работы над получением научной степени и т. д. имели те, чьи интересы лежали в области краеведения, археологии, классической событийной истории. В сфере истории общественной мысли гораздо большую поддержку и более благоприятные институциональные перспективы можно было получить, сосредоточившись на биографическом и социально-коммуникативном контексте возникновения тех или иных идей. Прояснение внутреннего содержания последних, выявление долговременных интеллектуальных тенденций, прослеживание «миграции» структур мысли не было приоритетом, поскольку почти не было специалистов, занимавшихся именно этой проблематикой. Потому я обзавелся условной пропиской внутри такой исторической дисциплины, как историография, и получил возможность заниматься тем, к чему лежала душа, при благосклонном отношении к моим, явно выходящим за пределы этой дисциплины штудиям, со стороны ученицы Сигурда Шмидта Галины Присенко.

Именно с этой позиции состоялся мой переход к философии в качестве предмета, который я стал одновременно изучать и преподавать. К этому моменту относится один из редких в моей биографии случаев переживания поколенческого единства, поскольку я попал на время хотя и в очень ограниченную, но все же группу «сверстников, сосуществующих в одном кругу». Трудности с тем, чтобы полноценно заниматься историей мысли и ее содержанием на историческом факультете, испытывал не только я. Несколько старших и младших моих сверстников находились в том же положении. У некоторых из них интерес к таким исследованиям подпитывался иными, чем у меня, установками и склонностями, например глубокой религиозной ангажированностью. Но итог был тем же самым – они испытывали потребность в таком пространстве, где их исследовательские планы могли бы реализоваться. Философия с ее свободными границами и методологическим разнообразием вполне соответствовала этому требованию. Вопрос был только в появлении организационного центра, который мог бы дать энергичным молодым людям возможность институционализировать свое положение в университете в статусе преподавателей и аспирантов. Впрочем, в моем случае пространством для самореализации могла бы стать и политология. Решающим обстоятельством стала небольшая разница во времени между двумя предложениями, поступившими накануне защиты дипломной работы.

Организационный центр, о котором я говорил выше, возник непосредственно перед моим окончанием университета. Кафедру философии и культурологии Тульского педагогического университета возглавила Елена Мелешко (выпускница аспирантуры МГУ имени М. В. Ломоносова). Научное руководство проектами кафедры начал осуществлять Владимир Назаров, недавно защитившийся докторант МГУ имени М. В. Ломоносова. Специализируясь по этике, он имел и имеет по сей день очень широкий круг интересов от прикладной этики до теологии и истории эзотерической мысли. Это делало его идеальной фигурой для работы с группой молодых исследователей, пытающихся найти себя внутри новой для них области деятельности. Кафедра планировала обновление кадров и была готова открыть свои двери перед выпускниками исторического факультета, имевшими точки соприкосновения с философией. Я оказался одним из них. После долгого разговора с Владимиром Назаровым о его замыслах и моих планах я принял решение расстаться с мечтой профессионально заниматься историей, которая сопровождала меня с ранних школьных лет. Для меня этот шаг означал годы тяжелой работы до более или менее полноценной переквалификации, а также жизнь с постоянным ощущением недостатка специального образования, но открывающаяся перспектива стоила того.

В похожем положении находились и мои молодые коллеги (многие из которых сделали неплохую академическую карьеру: например, Август Митько, ныне заместитель председателя Синодального отдела РПЦ, один из первых докторов теологии в России, Мария Гельфонд, выпускница докторантуры ИФ РАН, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин одного из тульских вузов). Нельзя сказать, что мы оказали друг на друга очень сильное влияние в теоретическом отношении, слишком разными были наши научные интересы, однако мы представляли собой среду живого общения, которая способствовала росту всех тех, кто к ней принадлежал. Позднее, знакомясь с коллегами, исходно не принадлежащими к столичным университетским центрам, я понял, что этот биографический трек – переход в философию из других гуманитарных дисциплин, поддержанный молодыми на тот момент научными руководителями, – является характерным именно для моего поколения провинциальных философов. Однако проблема в том, что даже эта, довольно тривиальная и поверхностная, особенность поколения, к которому я принадлежу, мгновенно переключает меня с горизонтальных отношений между сверстниками на вертикальные отношения с представителями старшего поколения или, вернее, заменяет тему поколения темой наставничества и философской школы. Именно они стали решающими в моей профессиональной судьбе.

Кафедра, к которой я стал принадлежать, несмотря на впечатляющую широту общефилософских интересов и эрудиции ее руководителей, была ориентирована на этические исследования. Аспирантура, в которой я учился, была аспирантурой по этике. И поэтому существенной проблемой для меня являлось сопряжение философской и, в особенности, этической направленности моей работы с историческим заданием – тем, что я наработал и освоил в период учебы. Желание не бросать материал своего дипломного исследования о русской официальной традиционалистской мысли было очевидным проявлением недостатка благоразумия, упрямства и инерции. Но по своему тогдашнему убеждению я пришел на кафедру для того, чтобы продолжить дело, которым жил несколько предыдущих лет. Владимир Назаров предложил мне развивать свое исследование либо в духе чистой истории российской этической мысли (позднее он напишет большую книгу, посвященную ей), либо в духе теоретического обоснования языкового и политического традиционализма. Я понимал всю проигрышность этих подходов. Философское значение изучавшихся мной персоналий было невелико, хотя для понимания развития русской мысли со свойственной ей неформальностью собственно философской и этической составляющей реконструкция их идей была бы вполне достойной целью. Достойной, но превращающей исследование в маргинальное. А заменить критику традиционализма, к которой я внутренне склонен и в обоснованности которой убежден, на его защиту было бы крайне неорганичным для меня поворотом. Другими

словами, один тупик моей академической биографии сменился другим. И он оказался в итоге преодолен также в связи с вертикальными, а не горизонтальными отношениями.

Проект создания центра, который позволил бы провинциальному университету готовить собственных специалистов по философии, опирался на сотрудничество с Институтом философии РАН, конкретно – с сектором этики и ученым советом по защите диссертаций по этой специальности. Программы обучения в аспирантуре формировались на основе этого сотрудничества, а в подготовке и аттестации аспирантов участвовали сотрудники института. Можно сказать, что мое этическое образование изначально было ориентировано на развивавшуюся в институте московскую этическую школу. Я к ней принадлежу и по сей день. Знаковые фигуры этой школы – Абдусалам Гусейнов и Рубен Апресян. Мощное влияние их работ я начал испытывать за несколько лет до личного знакомства и возникновения многолетних, очень важных для меня личных отношений. При всем углубляющемся с годами различии подходов этих двух этических философов к феномену морали существуют важные, сохраняющиеся до сих пор идейные и методологические сходства, которые, на мой взгляд, и задают те черты, которые отличают московскую этическую школу в сравнении, скажем, с санкт-петербургской. Во-первых, это отчетливо выраженная, последовательная нормативная ориентированность, связь теоретического постижения морали с конструированием нормативных программ и выявлением относительной императивной силы разных моральных принципов. Во-вторых, это особое отношение к истории этики. Историко-философское исследование, если его проводит этик, должно прояснять актуальные теоретические проблемы. В отношении любого историко-философского материала не только можно, но и нужно спрашивать: зачем он нам и зачем он нам именно сейчас? Отсюда склонность к исследованиям, которые критический внешний наблюдатель мог бы назвать «историями в стиле виггов». Фиксируется некий поступательный процесс и его итоговая точка, а затем осуществляется поиск истоков и рудиментов в истории мысли и культуры. Я понимаю, что пронизан именно этими установками, не мыслю себя без них. И подчас встречаю недоумение со стороны тех коллег, которые к этой школе не принадлежат. Именно вхождение в московскую школу (на теоретическом и межличностном уровне) позволило мне преодолеть второй тупик академической биографии.

Нужно отдать должное руководству кафедры, они почувствовали тупиковость ситуации и попробовали решить ее за счет «персонального маневра». Моим научным руководителем по их просьбе согласился стать Рубен Апресян, заметивший, что ничего не знает о непосредственном материале готовящейся диссертации, но подумает о возможности его этического использования. В пользу того, что со мной стоит иметь дело, свидетельствовало, по его мнению, не то что я глубоко изучил те или иные тексты первой половины XIX века, а то, что на кандидатском экзамене показал хорошее знакомство с теорией справедливости Джона Ролза и британской философской традицией эпохи Просвещения, включая Френсиса Хатчесона и почти не известного в России Джозефа Батлера. Условием нашей общей работы было названо то, что она носит промежуточный характер и после ее завершения мною будет проделан полноценный разворот в сторону нормативной и теоретической этики. Для меня это был компромисс между прошлым и будущим. Одним из аспектов проделанного мною анализа российской традиционалистской мысли было выявление ее морализаторских элементов. Рубен Апресян предложил ограничиться только этим и назвал три-четыре современных работы, использование которых превратило мой тяжеловесный, многосторонний анализ текстов и персоналий в концентрированное и ироничное исследование политического морализаторства. Эти события вырвали меня из круга моих тульских сверстников. Я стал постоянным гостем, а через три года после защиты кандидатской диссертации – работником-совместителем сектора этики Института философии РАН. За этим последовала докторантура в институте и довольно долгий путь к счастливому обретению статуса его основного работника. По

своей значимости принадлежность к школе оказалась гораздо важнее принадлежности к поколению.

В этом антипоколенческом направлении развития моей академической биографии, как мне кажется, тоже есть черта моего философского поколения, но опять-таки, если брать лишь ту ограниченную группу исследователей, которая не принадлежала к философскому сообществу со студенческой скамьи. Всю свою жизнь внутри профессии я получал очень дельные советы и перспективные деловые предложения со стороны старших коллег. Эти советы и предложения во многом формировали рисунок моей профессиональной деятельности. Я не могу отнести это обстоятельство на счет каких-то собственных выдающихся качеств, притягивающих внимание очень авторитетных и чрезвычайно талантливых философов. Мне кажется, что у него есть две других причины, которые пересекаются между собой. Первая касается крайне ответственного отношения тех, кто выступал для меня в качестве наставников, к состоянию своей дисциплины. Они постоянно находились и находятся в напряженном поиске тех людей, которые могли бы ее поддерживать и развивать. Вторая причина связана с тем, что такой поиск в 1990-е гг. сталкивался с дефицитом «человеческого материала». Социальные пертурбации этого периода, по всей видимости, вымыли из философского сообщества какое-то количество молодых людей, получивших специальную подготовку на факультетах философии. Кстати, вымыты оказались именно те, для кого влияние поколения и влияние школы могли бы быть уравновешены друг другом. Это положение заставляло старших коллег обращать внимание на тех молодых исследователей, у которых не было столь впечатляющего образовательного бэкграунда, но которые были готовы оставаться в профессии, несмотря на разного рода трудности. Тем самым создавался своего рода эффект вакуумного насоса, который я испытываю до сих пор. Без этого эффекта я с моим исходным заделом на момент окончания университета, несмотря на всю свою энергию и все свое упорство, вряд ли смог бы быстро пройти первые ступени академической карьеры и в тридцать пять лет оказаться доктором наук и профессором философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. И я вижу, что такой биографический трек не уникален. Несколько моих коллег с нефилософским образованием или философским образованием, полученным вне общепризнанных центров подготовки философов, повторяют его в той или иной мере.

Если возвращаться к категориям Ортеги-и-Гассета, то биография, развивающаяся по такому сценарию, не слишком располагает к построению «собственного мира» или даже к острому восприятию того мира, в который ты приходишь, в качестве несобственного. Я почти не замечаю, хотя, наверное, это имеет место, что парадигмальная матрица понимания морали, в которой я работаю, выстроена другими поколениями. Для меня этика выступает не как поле борьбы или пространство смены «возрастных когорт», а как продолжающееся обсуждение широкого ряда проблем, выявленных в разные периоды ее развития и требующих внимания от любого, кто называет себя этиком. Я постоянно перемещаюсь между этими проблемами, понимая, что в решение каждой из них невозможно внести собственный вклад. В каких-то проблемах важно разобраться не ради внесения вклада, а для продуктивного обсуждения смежных вопросов. При этом я почти всегда вижу параллели своих проблематизаций и концептуализаций в зарубежной аналитической этике и гораздо реже – в других этических традициях (в особенности в философии постмодерна). В этом своем состоянии я обнаруживаю точки полемики или солидарного соприкосновения с теми из коллег, которые занимаются интересующими меня проблемами, совсем не чувствуя того, что они принадлежат к разным философским поколениям. Я могу обсуждать вопросы допустимости насилия и лжи с Абдусаламом Гусейновым или Ольгой Зубец, вопросы соотношения разных моральных нормативных программ и исторического развития этической мысли с Рубеном Апресяном и Ольгой Артемьевой, вопрос обоснования морали с Леонидом Максимовым, частные вопросы теории справедливости с Борисом Кашниковым и Григорием Карнашем, вопросы экологической этики с Андреем Сычевым. Из тех российских этиков, которых я сейчас пере-

числил, моим сверстником является всего лишь один человек. Если обсуждение оказывается острополемическим, а это бывает довольно часто, то мне очень трудно воспринимать эту полемику как агональный диалог поколений, как борьбу за вытеснение тех, кто в предыдущие годы формировал повестку дня, как создание и защиту собственной «всеми признанной реальности».

И это не просто мое впечатление. Возраст в большинстве противостояний, возникающих в российской этике, оказывается случайным фактором по отношению к занимаемым участниками спора теоретическим позициям. Если взять в качестве примера спор об абсолютности моральных запретов на применение силы и обмана и ограничиться при этом раскладом сил внутри сектора этики Института философии РАН, то и в лагере «абсолютистов», и в лагере «ситуационистов» оказывается приблизительно равное количество участников дискуссии, принадлежащих к разным «возрастным когортам». Возможно, что в этом малом сообществе просто не назрела еще настоящая смена поколений с ее драматическими эффектами и произошла длительная монополизация теоретического пространства одним из поколений. Но ответ на этот вопрос может дать только время. Может быть, когда-нибудь я перепишу этот небольшой очерк с позиции человека, пережившего приход нового поколения и ощущающего себя «обломком жизни, которая окончилась пятнадцать лет назад».

Ортега-и-Гассет Х. 2000. *Избранные труды* / Сост., предисл. и общ. ред. А. М. Руткевича. – М.: Весь Мир.

Уильямс Б. 2008. Мораль: специфический институт – *Логос*. – № 1 (64). – С. 149–173.